



ПРОРОКИ И МСТИТЕЛИ

ПРЕДВЕСТИЯ ВЕЛИКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Я развернул книгу наугад, и мне раскрылась такая страница: «Весь мир осужден в жертву какой-то страшной, неслыханной и невиданной моровой язве, идущей из глубины Азии на Европу. Все должны погибнуть, кроме некоторых весьма немногих избранных. Появились какие-то новые трихины, существа микроскопические, вселяющиеся в тела людей. Но эти существа были духи, одаренные умом и волей. Люди, принявшие их в себя, становились тотчас же бесноватыми и сумасшедшими. Но никогда, никогда люди не считали себя так умными и непоколебимыми в истине, как считали эти зараженные. Никогда не считали непоколебимее своих приговоров, своих научных выводов, своих нравственных убеждений и верований.

Целые селения, целые города и народы заражались и сумасшествовали. Все были в тревоге и не понимали друг друга, всякий думал, что в нем одном заключается истина, и мучился, глядя на других, бил себя в грудь, плакал и ломал себе руки. Не знали, кого и как судить, не могли согласиться, что считать добром, что злом. Не знали, кого обвинять и кого оправдывать. Люди убивали друг друга в какой-то бессмысленной злобе. Собирались друг на друга целыми армиями, но армии уже в походе вдруг начинали сами терзать себя, ряды расстраивались, воины бросались друг на друга, кололись и резались, кусали и ели друг друга. В городах целый день били в набат: созывали всех. Но кто и для чего зовет, никто не знал того, и все были в тревоге. Оставили самые обыкновенные ремесла, потому что каждый предлагал свои мысли, свои поправки и не могли согласиться; остановилось земледелие. Кое-где люди сбегались в кучи, соглашались вместе на какое-нибудь дело, клялись не расставаться — но тотчас начинали что-нибудь совершенно новое, иное, чем сейчас сами же предполагали, начинали обвинять друг друга, дрались и резались. Начались пожары, начался голод. Все и всё погибло.

Язва росла и подвигалась дальше и дальше. Спасти во всем мире могли только несколько человек, это были чистые, избранные, предназначенные начать новый род людей и новую жизнь, обновить и очистить

землю, но никто и нигде не видал этих людей, никто не слышал их слова и голоса».¹

Это последняя страница из «Преступления и наказания» — бред Раскольникова в Сибири. Я читал эту страницу много раз и раньше, но теперь мне казалось, что ее никогда раньше не было и она только что выросла в этой книге. Я читал ее другим, которые, я знал, любили эту книгу, и они тоже не могли вспомнить именно этой страницы. Очевидно, глаза наши до нынешних времен скользили по этим строкам, не видя их.

Только дыхание ужаса революции выявило их для нас, как прикосновение огня обнаруживает бледные буквы, написанные химическими чернилами на белом листе бумаги.

Оно было написано ровно сорок лет тому назад — это апокалипсическое видение, в котором уже есть все, что совершается, и много того, чему еще суждено исполниться.

Души пророков похожи на темные анфилады подземных зал, в которых живет эхо голосов, звучащих неизвестно где, и шелесты шагов, идущих неизвестно откуда. Они могут быть близко, могут быть далеко. Предчувствие лишено перспективы. Никогда нельзя определить его направления, его близости.

Толща времени, подобно туману, делает предметы и события грандиознее и расплывчатее.

Поэтому часто бывает, что ураган, притаившийся на пути одного народа, для провидцев этого народа представляется событием мировым, а не национальным, и наступление частичной катастрофы кажется наступающим концом мира.

Наиболее яркий пример такого предчувствия — это всеобщее ожидание конца мира в третьем и четвертом веке христианской эры, которое разрешилось падением Римской империи.

С пророчеством Достоевского хочется сопоставить пророчество св. Киприана,² писавшего в конце третьего века:

«Мир близится к концу. Это не старость, это признак надвигающейся смерти... Человек старится и умирает. Так же и мир должен умереть. Все знаки свидетельствуют о том, что земля близится ко времени своего распада».

Зимой дождь не оживляет семян, лето не дает тепла, чтобы созреть плодам. Весна потеряла свое прежнее обаяние. Осень — свое плодородие. Мраморные каменоломни и золотые рудники истощаются, источники воды пересыхают.

Дети рождаются лысыми. Жизнь не кончается старостью, она начинается усталостью. Растет безлюдие. Земля без пахарей, на морях только изредка проходят корабли, нивы пустыжны. И в нравах тот же упадок. Нет больше невинности, нет справедливости, нет дружбы. Уровень знаний понижается. Лучи солнца бледны и не дают тепла. Луна незаметно уменьшается и скоро исчезнет совершенно; деревья, которые радовали нас своей зеленью и плодами, засыхают. И не ждите, что бедствия, истязавшие народы, уменьшатся. Они будут расти и множиться до дня последнего суда».³

Другой отец церкви, Лактанций,⁴ еще законченнее выражает то же настроение:

«Мир подходит к концу. Зло царит в мире. А между тем то, что теперь, это еще золотой век, сравнительно с тем, что будет: исчезнет всякий закон, всякая вера, всякий мир, всякий стыд, всякая правда.

Меч пройдет по миру и пожнет жатву. Имя Рима будет стерто с лица земли. Ужас меня охватывает, когда я говорю это, но я говорю, потому что так будет; снова власть вернется на Восток, Азия снова будет править, а Европа будет рабой.

И придут времена ужаса. И не будет таких, кому мила жизнь. Города будут разрушены до самого основания, огнем и мечом, землетрясениями, наводнениями... Земля не даст плодов своих человеку... Животные станут умирать».⁵

Лактанций заканчивает картину распада мира пришествием Антихриста и трубой Архангела, призывающей всех на Страшный суд.

Слова Лактанция об Азии и новом порабощении Запада невольно вызывают на память пророческие слова Владимира Соловьева о том, что всемирная история внутренне окончилась. «Историческая драма сыграна, и остался еще один эпилог, который, впрочем, как у Ибсена, может сам растянуться на пять актов. Но содержание их, в существе дела, заранее известно».⁶

И еще поразительнее эти слова в его стихотворении «Панмонголизм», написанном осенью 1894 года.

Панмонголпзм. Хоть имя дико,
 Но мне ласкает слух оно,
 Как бы предчувствием великой
 Судьбины Божией полно.
 Когда в растленной Византии
 Остыл Божественный Алтарь
 И отреклся от Мессии
 Народ и князь, иерей и Царь,
 Тогда поднялся от Востока
 Народ безвестный и чужой,
 И под ударом тяжким Рока
 Во прах склонился Рим второй.
 Судьбою древней Византии
 Мы научиться не хотим,
 И всё твердят льстецы России:
 Ты третий Рим, ты третий Рим!
 Ну что ж, орудий Божьей кары
 Запас еще не истощен. . .
 Готовит новые удары
 Рой пробудившихся племен.
 От вод Малайи до Алтая
 Вожди с восточных островов
 У стен восставшего Китая

Собрали тьмы своих полков.
Как саранча, неисчислимы,
И ненасытны, как она,
Нездешней силою хранимы,
Идут на Север племена.
О, Русь, забудь былую славу —
Орел Двуглавый сокрушен,
И желтым детям на забаву
Даны клочки твоих знамен.
Смирится в трепете и страхе,
Кто мог завет любви забыть,
И третий Рим лежит во прахе,
А уж четвертому не быть.⁷

Сравнивая страницу Достоевского со словами Лактанция и св. Киприана, так близко подходящими друг к другу по стилю, замечаешь одну существенную разницу.

У всех троих есть яркое и вполне определенное чувство приближающейся катастрофы, но африканский ритор Лактанций говорит о моральном падении мира и о политическом торжестве Азии, совпадая в этом с Вл. Соловьевым, св. Киприан говорит о старости мира и с ужасом видит, что лучи солнца бледнеют и размеры луны уменьшаются, но оба они остаются в области физической природы, и Страшный суд, которого они ждут, кажется для нас теперь только отчетом, который греко-римская культура готовилась дать перед Всемирной Историей.

Между тем в словах Достоевского чувствуется приближение катастрофы иного рода, — катастрофы психологической, которая все потрясение переносит из внешнего мира в душу человека.

«Обезьяна сошла с ума и стала человеком».⁸

Следующий день начнется, когда человек сойдет с ума и станет Богом.

В пророчестве Достоевского чувствуется именно эта катастрофа: новое крещение человечества огнем безумия, огнем св. Духа. Нынешнее человечество должно погибнуть в этом огне, и спасутся только те немногие, которые пройдут сквозь это безумие невредимыми — «чистые, избранные, предназначенные начать новый род людей и новую жизнь, обновить и очистить землю. Но никто и нигде не видел этих людей, никто не слышал их слова и голоса».

У хилиастов⁹ третьего века конец мира, у Достоевского безумие с надеждой новой зари за гранью безумия.

Как сонное видение преувеличивает и преобразует в грандиозную и трагическую картину случайное внешнее явление, дошедшее до мозга спящего, так душа, полная пророческими гулами и голосами, преобразует первые признаки падения греко-римской культуры в дряхлость всего мира и наступление Страшного суда, а приближение Великой Революции разоблачает тайны последнего и величайшего безумия человечества, которое, действительно, говоря словами Вл. Соловьева, «закончит магистраль Всемирной Истории».

Для того чтобы понять и разобрать пророчество раньше его осуществления, нужно не меньшее откровение, чем для того, чтобы написать его.

Только времена, надвигаясь и множа факты, дают ключ к пониманию смутных слов старых предвидений, опрозрачивая образы и выявляя понятия в невнятных рунах прошлого.

Нужно самому быть пророком для того, чтобы понять и принять пророчество до его исполнения. Пророчество Достоевского оставалось для нас невнятным, пока мы не ступили на самый порог ужаса.

Пророчества почти всегда бессознательны. Очень редко они бывают пророчествами знания, немного чаще встречаются пророчества глаза — видения, и на каждом шагу мы имеем дело с пророчествами чувства — так называемыми предчувствиями.

Пророчества глаза и пророчества знания совершенно не войдут в нашу тему, относясь по самому своему существу к другой области.

У человека есть две возможности бессознательного предчувствия: страх и желание.

Это два органа, два щупальца, которыми он осязает дорогу перед собою.

Мы имеем с ними дело во всех обстоятельствах обыденной жизни и потому не обращаем внимания на их сущность. Между тем все наши отношения с будущим исчерпываются этими двумя органами восприятия, по существу своему диаметрально противоположными.

Желание и страх являются двумя формами одного и того же чувства предвиденья и выражают наши различные отношения к наступающему.

Страх — это чувство пустоты, неизвестности — «horror vacui».* Желание — это чувство полноты.

Самое чувство в своем существе еще не познано нами. Мы знаем его только в его крайних проявлениях. В своем наиболее чистом виде мы можем наблюдать это чувство в моменты ожидания, когда весь организм бывает охвачен тем особенным нервным волнением, в котором нельзя отличить стихии страха от стихии желания.

Без сомнения, наше чувство будущего, подобное памяти — чувству прошлого, возникает именно в том промежуточном пространстве — между страхом и желанием. И оно уже есть в нас отчасти. Только для памяти мозг выработал себе двойную перспективу: хронологию и закон причинности, в то время как в области предвидения такого чувства еще нет.

В слове «Революция» соединяется много понятий, но когда мы называем Великую Революцию, то, кроме политического и социального переворота, мы всегда подразумеваем еще громадный духовный кризис, психологическое потрясение целой нации.

* ужас пустоты (лат.).

В жизни человека есть незыблемые моменты, неизменные жесты и слова, которые повторяются в каждой жизни с ненарушимым постоянством: смерть, любовь, самопожертвование.

И именно в эти моменты никто не видит и не чувствует их повторяемости: для каждого, переживающего их, они кажутся совершенно новыми, единственными, доселе никогда не бывавшими на земле.

Подобными моментами в жизни народов бывают Революции.

С неизменной последовательностью проходят они одни и те же стадии: идеальных порывов, правоустановлений и зверств — вечно повторяющие одну и ту же трагическую маску безумия и всегда захватывающие и новые для переживающих их.

Революции — эти биения кармического сердца — идут ритмическими скачками и представляют непрерывную пульсацию катастроф и мировых переворотов.

Духовный кризис наций, который является неизбежным бичом в руке каждой из Великих Революций, — это кризис идеи справедливости.

Идея справедливости — самая жестокая и самая цепкая из всех идей, овладевавших когда-либо человеческим мозгом.

Когда она вселяется в сердца и мутит взгляд человека, то люди начинают убивать друг друга.

Самые мягкие сердца она обращает в стальной клинок и самых чувствительных людей заставляет совершать зверства.

Она несет с собой моральное безумие, и Брут, приказывающий казнить своих сыновей, верит в то, что он совершает подвиг добродетели.

Кризисы идеи справедливости называются великими революциями. Анатоль Франс говорит с горькой иронией:

«Робеспьер был оптимист и верил в добродетель. Государственные люди, обладающие характером подобного рода, приносят всяческое зло, на какое они способны.

Если уж браться управлять людьми, то не надо терять из виду, что они просто испорченные обезьяны. Только под этим условием можно стать человеческим и добрым политическим деятелем.

Безумие революции было в том, что она хотела восстановить добродетель на земле.

А когда хотят сделать людей добрыми и мудрыми, терпимыми и благородными, то неизбежно приходят к желанию убить их всех. Робеспьер верил в добродетель: он создал Террор. Марат верил в справедливость: он требовал двухсот тысяч голов».¹⁰

Кабанэс в любопытной книге о революционных неврозах говорит:

«Голод создавал болезни. Но и зрелище голода создало болезнь, новую, свойственную только этому времени — „бешенство сострадания“. Человечество отчаянно взывало к бесчеловечью, к самой смерти — великому врачу, который, казалось, мог исцелить все болезни мира. Марат, которому постоянно делали кровопускания и который всюду видел только кровь, был неумолимым филантропом. Шалье — святой Террора, жестокость которого была вся в словах, но который носил в сердце невыра-

зимую жалость ко всем страдающим, ужаснул мир пароксизмом своего бешенства».¹¹

Человечество в своем совершенствовании должно пройти сквозь идею справедливости, как сквозь очистительный огонь.

Прежде чем прийти к полному и безусловному оправданию мира («мир должен быть оправдан весь, чтоб можно было жить!»),¹² надо пройти под лезвием меча, рассекающего все видимое, все познаваемое на добро и зло, правду и ложь, справедливость и насилие.

У статуи Справедливости в руках меч.

У статуи Справедливости глаза всегда завязаны, а одна чашка весов всегда опущена!

Пароксизм идеи справедливости, это — безумие революций.

В гармонии мира страшны не те казни, не те убийства, которые совершаются во имя злобы, во имя личной мести, во имя стихийного звериного чувства, а те, которые совершаются во имя любви к человечеству и к человеку.

Только пароксизм любви может создать инквизицию, религиозные войны и террор.

И любовь страшнее и разрушительнее ненависти, потому что ненависть только тень любви, потому что ненависть только огненный цветок, распускающийся на дереве любви, на неопалимой купине человечества.

Безумие в том, что палач Марат и мученица Шарлотта Корде с одним и тем же сознанием подвига хотели восстановить добродетель и справедливость на земле.

Сентябрьские убийцы во время Французской революции, убивая заключенных в тюрьмах аристократов, верили, что они совершают таинство священного очищения нации.

2 сентября во дворе Аббей,¹³ когда уже лежали груды трупов один на другом, произошло движение среди присутствующих, потому что кто-то сказал:

«Надо пустить детей посмотреть».

Революция повторяла слова Христа: «Пустите ко мне малых сих».¹⁴

«Да, да, верно!» — раздались голоса, и каждый посторонился, чтобы дать место ребенку.

Чем человек чувствительнее и честнее, тем кризис идеи справедливости сказывается в нем с большей силой и нетерпимостью.

Робеспьер, Кутон, Марат, Сен-Жюст по своему существу сентиментальны и чувствительны.

Робеспьер, когда еще до революции был судьей в городе Аррасе, предпочел отказаться от должности, чем скрепить своей подписью представленный ему смертный приговор.

Кутон плакал над смертью канарейки.

«Jean-Pierre Marat était très doux»,* — гласит стих Верлена¹⁵ Сен-Жюст написал в своем дневнике:

«Очевидно Господу угодно было кинуть меня в среду этих извращенных, чтобы я, как меч, покарал их».

* «Жан-Пьер <sic!> Марат был весьма мягок» (франц.).

Генрих Гейне в своей «Истории религии и философии в Германии» сравнивает Эммануила Канта с Максимилианом Робеспьером:

«И в Канте и в Робеспьере в наивысшей степени было воплощено мещанство: природою им обоим суждено было взвешивать сахар и кофе, но судьбе угодно было поручить им иное, и одному на чашу весов она возложила короля, а другому Бога... И оба взвесили честно».¹⁶

Гейне совершенно прав, называя Робеспьера мещанином. Справедливость Робеспьера — справедливость во имя государственности, т. е. справедливость мещанская, справедливость бюргера, горожанина, справедливость, которая лежит в наше время в основе всех установлений государственного порядка. Он сам косвенно признался в этом словами:

«Идея высшего существа и бессмертия души — это постоянное напоминание о справедливости; поэтому она социальна и достойна республики».¹⁷

Справедливостью во имя божественного установления была и справедливость старого режима, но Робеспьер справедливость поставил выше божества и этим сделал ее мещанской.

У Марата и у сентябрьских убийц была справедливость самая непосредственная, так как ее критерием служит личная страсть.

Справедливость Дантона — справедливость во имя родины — «Родина в опасности!» — справедливость жестокая, но целесообразная, смягченная добродушием сильного зверя.

Справедливость жирондистов — справедливость во имя человечности, обманчивая справедливость Руссо.

«Бедный, великий Жан-Жак! — говорит А. Франс. — Он встревожил мир. Он сказал матерям: „кормите сами своих детей“, и молодые женщины стали кормилицами, и художники стали изображать знатных дам, кормящих грудью своего ребенка.

Он сказал людям: „Люди рождены добрыми и счастливыми, а общество сделало их несчастными и злыми. Они найдут свое прежнее счастье, возвратясь к природе“. Тогда королевы сделались пастушками, министры — философами, законодатели провозгласили права человека, а народ, добрый по природе своей, в течение трех дней резал заключенных в тюрьмах!».

Но самая страшная справедливость — справедливость Сен-Жюста — справедливость во имя справедливости. Справедливость, висящая среди мира, как огненный меч гневного серафима, прообраз Страшного суда, всеиспепеляющее пламя абсолютного морального чувства разгневанного божества, не нашедшего оправдания миру.

«Господу было угодно кинуть меня в круг этих извращенных, чтобы я, как меч, покарал их».

Сен-Жюст — воплощение абсолютной идеи справедливости, которая в самом звуке его имени отметила свое появление на земле.

Безумие отдельных лиц ищет оправдания своей справедливости в высшей и неоспоримой идее, но неоспоримые идеи, сталкиваясь в водовороте жизни, производят разрушительные взрывы.

Отдельные безумия находят свое успокоение только в законе — безумии объективном, которое является равнодействующим всех безумий.

«В демократии народ подчинен своей собственной воле, а это очень тяжелый вид рабства. В действительности народ настолько же чужд и враждебен своей собственной воле, насколько он чужд воле своего царя, так как общая воля или совсем отсутствует, или присутствует очень мало в воле отдельного человека, который однако испытывает это противоречие во всей его целостности» (А. Франс).¹⁸

Почему же ни Робеспьер, ни Сен-Жюст, в руках которых была вся власть, не дали Европе того закона, который она, спустя несколько лет, приняла из рук Наполеона?

Они были тверже и чище его, подобные двум архангелам ужаса, стоящим у врат нового мира.

У них не было минут слабостей, нерешимости, отчаяния и даже простой боязни, как в жизни Наполеона.

Власть Наполеона в том, что он пришел во имя свое и дал закон во имя свое, тогда как Робеспьер хотел дать закон во имя республики-государства, а Сен-Жюст во имя справедливости. И тайна власти Наполеона в том, что он смотрел на людей, как на «испорченных обезьян».

Санкция закона — в имени, от которого он исходит, будь это закон от Иеговы или закон от Наполеона.

Во имя безымянной идеи нет закона, будь это непорочная идея самой справедливости или успокаивающая идея государства — мещанства.

Закон Наполеона и был законом мещанства, но он не был дан во имя мещанства, а во имя законодателя.

Русская революция — это только один частичный кризис, который в душе Достоевского выявил тайны последнего и величайшего безумия человеческого рода, который погибнет весь в этих моральных конвульсиях, кроме тех немногих избранных, которым предназначено начать новый род людей, новую жизнь, обновить и очистить землю, перенести внешний закон внутрь человеческой души.

Тогда нынешнее — звериное сознание общественного организма, которое ниже нашего личного сознания, станет равным ему и тождественным.

Но прежде чем человечество придет к этому полному и безусловному единству личности и общества, надо до самого конца пройти времена безумия. Надо все видимое, все познаваемое рассечь лезвием меча на добро и зло, правду и ложь.

Страшны стихийные предвестия этих моральных пароксизмов. Конвульсивный ужас бежит и кривляется, оповещая об их наступлении.

Во Франции наступление Великой Революции пробудило панический ужас, спавший в утробе средневековья.

«Нервность населения была так велика, — говорит Тэн, — что достаточно было маленькой девочке встретить вечером около деревни двух

незнакомых людей, чтобы целые округа начинали бросать свои жилища и спасаться в леса, унося с собой свои пожитки».¹⁹

Это были первые предвестия террора.

Этот ужас не всегда переходит в убийства.

Эпидемия ужаса тысячного года вылилась не в убийства, а в мистицизм.

Страх — это скачок в бессознательное. Если энергии взрыва нет места вверх, он производит разрушение на земле. В то время Франция была полна бродяг и нищих. Разрушение замков еще не начиналось. Но эти босяки и хулиганы уже осмелели от парижских событий. Они были «Черной сотней», наводящей ужас. Они жгли хлеб и вытравляли посевы.

«Центр Франции был потрясен эпидемией, которой дали имя „Великого Страх“». В каждом городе она начиналась одинаковым образом. Вечером начинали циркулировать слухи: говорилось о приближении нескольких тысяч разбойников, вооруженных с ног до головы, которые истребляли все на своем пути, оставляя за собой только пожары и развалины. Слухи росли, подобно грозовому облаку; самые храбрые бывали захвачены. Прибегал в город человек и рассказывал, что он видел собственными глазами облако пыли, поднятое наступающим войском. Другой слышал, как били в набат в соседнем селении. Сомнений больше не оставалось. Через какой-нибудь час или меньше город будет разграблен.

И рабочие и мещане хватались за оружие: ружья, штыки, пики, топоры, рабочие инструменты — все отбиралось для вооружения. Являлась импровизированная милиция. Самые смелые уходили из города в поиски, навстречу неприятелю.

Вернутся ли они?

В ожидании женщины прятали драгоценные вещи, трепетали за своих детей... Проходит час... два... Смертельное томление! Наступает ночь, увеличивая ужас. Ходят патрули. На перекрестках горят факелы.

Между тем крестьяне, гонимые ужасом, бегут в город и волокут с собой свои пожитки.

Но вот возвращаются разведчики. Они не нашли ни одного разбойника. Страх уменьшается. Через несколько дней он разрешается всеобщим хохотом.

Овернь, Бурбоне, Лимузен, Форес были один за другим охвачены этой странной паникой. Эпидемия шла с северо-запада на юго-восток. Она отразилась тоже, но с меньшей силой и правильностью, в Дофинэ, в Эльзасе, во Франш-Конте, в Нормандии и в Бретани. В Париже такая паника была в ночь на 17 июля 1789 года, через три дня после взятия Бастилии. Главные моменты развития этой эпидемии — конец июля и начало августа 1789 года».*²⁰

Уже с половины XVIII века во Франции ожидали пришествия Революции, повсеместно, всенародно, безусловно, почти с такой же напряжен-

* D-r Cabanès. Les névroses révolutionnaires.

ностью, как человечество ожидало светопрествления в конце десятого века.

Во Франции, как и в России, было больше всего пророков желания — этих «Женщин из Магдалы», ожидающих под раскаленным зноем пустыни пришествия Мессии. Они все измучены и сожжены ожиданием и страстью. Революция сразу сжигает их. Они гибнут в ее пламени, радостные и счастливые. Они ждут ее дуновения, и, когда губы мятежа прикоснутся к их лбу, — им больше нечего делать на земле. Они ждут только одного поцелуя и не переживают страстности первого прикосновения.

Среди Сивилл Революции есть две фигуры библейского прозрения и пафоса: маркиз Мирабо — отец Великого Мирабо, друг людей, «Ami des hommes», заточавший в тюрьму своих детей,²¹ и Казотт.

Они боялись революции и ненавидели ее и поэтому видели дальше других. Их предчувствие — предчувствие ужаса. Маркиз Мирабо был один из тех, которые наиболее четко видели приближение тучи, хотя и туманно сознавали, какие молнии она несет в себе.

Вся его ненависть к сыну, порывистая и страстная, неожиданно освещаемая яркими молниями любви и удивления перед его гениальностью, — вся эта ненависть — уже пророчество.

В его письмах есть такие неожиданные прозрения и вспышки, что для его ненависти чувствуются другие, более властные причины; чем скупость и искажение родительского чувства.

У него прорываются иногда такие фразы: «Время людей, подобных моему сыну, приближается гигантскими шагами, потому что в настоящее время нет женщины, которая не носила бы во чреве своем будущего Артевельда или Мазаньелло».²²

А иногда он восклицает с дьявольской гордостью: «Уже в течение пятисот лет мир терпит Мирабо, которые никогда не были, как остальные люди. Стерпит он и этого, и сын мой — я ручаюсь за него — не урожит нашего имени».

Старый лев чувствовал, что он породил дракона, дышащего пламенем.

Все время кажется, что он говорит не о своем сыне, а о наступающей Революции.

В самом преследовании сына, в этом неотступном желании маньяка запереть его в тюрьму «навсегда» чувствуется, что он обращается не к сыну, а к чему-то более грозному, к какой-то стихии, которая поглотит все, если он не обуздает ее.

Это внезапное прозрение старого режима — яркое, гениальное, от которого приподымаются волосы на голове. Это — Валаам, прорицающий против своей воли среди всеобщей слепоты.

В то время, когда граф д'Артуа (Карл X) протезировал Марата, герцог Орлеанский — Бриссо,²³ каноники Лаонского собора воспитывали Камиля Демулена,²⁴ а Сан-Ваатский Аббат — Робеспьера, Конде покровительствовал Шамфору,²⁵ сестры Короля — Бомарше, М-ме де

Жанлис — Шодерлос де Лакло,²⁶ Кардинал де Тенсен — Мабли,²⁷ — маркиз Мирабо одиноко стоит со своей неутолимой ненавистью к своему родному сыну.

Казотта²⁸ хочется поставить рядом с маркизом Мирабо, потому что и для него революция была не вождеденным освобождением, а надвигавшимся ужасом.

В годы перед Революцией он почти безвыездно жил в провинции, вдали от Парижа, в глубине своей семьи. Он весь захвачен, заморожен глазами приближающегося чудовища, которое должно поглотить самое дорогое для него на земле — короля и церковь. И он кричит о надвигающейся опасности и борется с ползущей лавиной, ясно зная, что будет раздавлен и уничтожен. Он вызывает духов, он хочет сделать Контр-революцию при помощи мертвецов. Он посылает своего сына к королю, которого везут из Варенна,²⁹ и тому удается спасти дофина, затерявшегося в толпе. Перед праздником Федерации на Марсовом поле³⁰ его сын произносит по его поручению заклятия около Алтаря Отечества, чтобы поставить Марсово поле под особое покровительство ангелов. Сын доносит отцу, что, когда толпа танцевала карманьолу около Тюильри и он произнес заклятие, то руки сами собой опустились и танец расстроился.

Ла Гарп,³¹ известный историк и член Французской академии, в котором Террор произвел глубокий религиозный кризис и который стал мистиком по выходе из революционной тюрьмы, сохранил рассказ об одном из предсказаний Казотта.

«Это было в начале 1788 года.³² Мы были на ужине у одного из наших коллег по Академии Duc de Nivernais,³³ важного вельможи и весьма умного человека. Общество было очень многочисленно и весьма разнообразно. Тут были аристократы, придворные, академики, ученые... Ужин был роскошен, как обыкновенно. За десертом мальвазия придавала всеобщему веселью еще тот характер свободной распущенности, при которой не всегда сохраняется подобающий тон. Был именно тот момент, когда все кажется дозволенным, что может вызвать смех.

Шамфор прочел одну из своих вольных и безбожных сказок, и знатные дамы слушали его и не закрывались веерами.

Потом начался целый поток насмешек над религией. Один цитировал из „Девственницы“ Вольтера,³⁴ другой припоминал эти „философские“ стихи Дидро:

И на кишках последнего попа
Удавим последнего короля,³⁵

которые встретились общими рукоплесканиями.

Третий подымается с полным стаканом вина:

„Да, господа, я так же уверен в том, что Бога нет, как и в том, что Гомер просто старый дурак“.

И действительно, он был уверен в том и в другом. И тогда стали говорить о Боге и о Гомере, и собеседники хорошо отделали и того и другого.

Разговор становился более серьезным, и все в восторге говорят о той революции, которую произвел Вольтер и которая одна уже дает ему права на бессмертную славу.

„Он дал тон всему веку и заставил читать себя в передней так же, как и в гостиной“.

Один из собутыльников рассказал нам, надрываясь от смеха, что его парикмахер сказал ему, пудря его голову:

„Видите ли, сударь, какой я ни есть несчастный цирюльник, религии у меня не больше, чем у всякого другого“.

Все единогласно утверждают, что революция не замедлит совершиться, что необходимо, чтобы суеверие и фанатизм уступили, наконец, место философии, и начинают подсчитывать приблизительно возможное время ее наступления и кто из собравшегося здесь общества еще сможет увидеть царство разума.

Самые старые жалуются, что им не дожить до этого; молодые радуются более чем возможной надежде увидеть его, и все поздравляют Академию, которая подготовила „великое дело“ и была центром, главой, главным двигателем освобождения мысли.

Только один из гостей совершенно не принимал участия в общем веселье и даже втихомолку уронил несколько сарказмов по поводу нашего наивного энтузиазма. Это был Казотт, человек весьма любезный и оригинальный, но, к сожалению, слишком увлеченный грезами иллюминатов.³⁶ Он просит слова и глубоко серьезным голосом говорит:

„Господа! Вы будете удовлетворены. Вы увидите все *эту Великую, эту Прекрасную Революцию*, которой вы так ожидаете. Вы ведь знаете — я немного пророк; и я повторяю вам: вы все увидите ее“.

Ему отвечают обычным припевом:

„Для этого не надо быть большим пророком“.

— Пусть так. Но, может быть, надо быть даже немного больше, чем пророком, для того чтобы сказать вам то, что мне надо сказать. Знаете ли вы, какие непосредственные следствия будет иметь эта *Революция* для каждого из вас, собравшихся здесь?

„Что же? посмотрим“, — сказал Кондорсэ³⁷ со своим надменным видом и презрительным смехом: „Философу всегда бывает приятно встретиться с пророком“.

— Вы, Monsieur Кондорсэ, — вы умрете на полу темницы; вы умрете от яда, чтоб избежать руки палача, от яда, который вы будете всегда носить с собой, — в те счастливые времена.

Сперва полное недоумение, но потом все вспоминают, что милый Казотт способен грезить наяву, и все добродушно смеются.

„Monsieur Казотт, сказка, которую вы здесь нам рассказываете, далеко не так забавна, как ваш «Влюбленный дьявол». Но какой дьявол вплел в вашу историю эту *темницу, яд, палачей*? Что же общего имеет это с философией и царством разума?“.

— Это совершится именно так, как я говорю вам. И с вами так поступят. Во имя философии, человечества, свободы и именно при царстве Разума. И это будет, действительно, *царство Разума*, потому что Разуму

будут тогда посвящены храмы, и во всей Франции тогда даже и не будет иных храмов, кроме *храмов Разума*.

— Только я клянусь, — сказал Шамфор со своей саркастической улыбкой, — что вы-то уж не будете одним из жрецов в этих храмах.

— О, я надеюсь. Но вы, *monsieur* Шамфор, который был бы вполне достоин быть одним из первосвященников, вы разрежете себе жилы двадцатью двумя ударами бритвы и тем не менее умрете только много месяцев спустя.

Все снова переглядываются и смеются.

— Вы, *monsieur* Вик д'Азир,³⁸ вы сами не вскрыете себе жил; но после шести кровопусканий в один день и после припадков подагры вы умрете в ту же ночь.

Вы, *monsieur* Николаи³⁹ — вы умрете на эшафоте, — вы, — *monsieur* Бальи,⁴⁰ — на эшафоте; вы, *monsieur* Мальзерб,⁴¹ — на эшафоте...

— Ну, слава Богу, — говорит Руше,⁴² — кажется, *monsieur* Казотт рассержен только на Академию. Он устраивает страшную резню, а я — хвала небу!..

— Вы! Вы умрете также на эшафоте.

— О! да он решил всех нас перебить, — кричат со всех сторон.

— Не я судил так...

— Ну, в таком случае мы будем под игмом турок или татар...

— Нисколько... Я вам сказал — вами будет править одна *Философия*, один *Разум*.

Те, кто с вами будут поступать так, — все они будут философами, и в устах их будут звучать те же слова, те же фразы, что вы говорите здесь, они будут повторять ваши афоризмы и цитировать, как и вы, стихи из Дидро и из „*Rucelle*“.

Присутствовавшие шептали друг другу на ухо:

„Разве вы не видите, что это сумасшедший? (так как он все время сохранял полную серьезность).“

— Разве вы не видите, что он смеется? Ведь вы знаете, что он всегда вводит фантастический элемент в свои шутки“.

— О! да, — подхватил Шамфор, — но фантастика его не очень-то весела. Он только и думает, что о виселицах. И когда все это произойдет?

— Шести лет не пройдет, как все, о чем я говорю вам, будет совершено.

— Вот это действительно чудеса, — сказал Ла Гарп. — А меня вы совсем оставили в стороне?

— С вами случится чудо, почти настолько же невероятное, как и все остальные. Вы станете христианином и мистиком.

Крики изумления.

— О! — говорит Шамфор, — теперь я спокоен. Если всем нам суждено погибнуть только тогда, когда Ла Гарп обратится в христианство, то мы бессмертны.

— Вот поэтому-то, — говорит герцогиня де Граммон,⁴³ — мы, женщины, — мы гораздо более счастливы, потому что с нами не считаются

в революциях. Когда я говорю: не считаются, это вовсе не значит, что мы не принимаем никакого участия, но нас не трогают, наш пол...

— Ваш пол, mesdames, на этот раз он не защитит вас, и вы хорошо сделаете, если не будете ни во что вмешиваться. С вами будут обращаться, как с мужчинами, не делая никакой разницы.

— Что вы нам рассказываете, monsieur Казотт? Вы пророчите нам о конце мира?

— Этого я не знаю. Но что я знаю очень хорошо, это то, что вы, герцогиня, вы будете возведены на эшафот. — Вы и многие других дам вместе с вами. Вас будут везти в телеге с руками, связанными за спиной.

— О! я надеюсь, что в этом случае эта телега будет обтянута черным трауром.

— О! нет. И самые знатные дамы так же, как и вы, будут в телеге и с руками, связанными за спиной.

— Еще более знатные дамы! Что же, принцессы крови?

— И более...

Здесь заметное волнение пробежало по зале, и лицо хозяина дома нахмурилось. Все начали находить, что шутка зашла слишком далеко.

Madame де Граммон, чтобы разогнать неприятное впечатление, не настаивала на последнем вопросе и сказала шутливым тоном:

„Но вы мне оставляете, по крайней мере, исповедника?“

— О! нет, вы будете лишены этого. И вы, и другие. Последний из казнимых, которому будет оказана эта милость, это...

Он замолчал на мгновение.

— Ну, кто же этот счастливый смертный, который будет иметь эту прерогативу?

— Эта прерогатива будет последней из всех, которые у него были, и это будет король Франции.

Хозяин дома встал с места, и все гости вместе с ним. Он направился к Казотту и сказал внушительно:

„Мой милый monsieur Казотт, прекратим эти мрачные шутки; вы завели их слишком далеко и компрометируете ими и общество, в котором вы находитесь, и вас самих“.

Казотт, ничего не отвечая, хотел уйти, когда м-ше де Граммон, которая все время хотела обратить все в шутку, подошла к нему:

— Вы, г-н Пророк, предсказали всем нам наше будущее, но что же вы ничего не сказали о самом себе!

Несколько минут он стоял молча с опущенными глазами.

— Читали вы про осаду Иерусалима у Иосифа Флавия? ⁴⁴

— Разумеется. Кто же этого не читал? Но говорите, пожалуйста, так, как будто мы этого не читали.

— Так вот видите, — во время этой осады один человек в течение семи дней ходил по стенам города на виду осажденных и осаждающих и восклицал: „Горе Иерусалиму! Горе мне!“. И в это время он был поражен громадным камнем, пущенным из осадной машины.

Сказав это, Казотт поклонился и вышел».

Казотт предчувствовал свою собственную казнь. Когда после взятия Тюильри, 10 августа,⁴⁶ были найдены его письма к королю, он был арестован вместе со своей дочерью Елизаветой, служившей ему секретарем, и заключен в тюрьму Аббей, где произошли несколько дней спустя сентябрьские убийства. Он был один из немногих, которых пощадил страшный революционный трибунал Майара. Когда друзья Казотта поздравляли его, то он ответил:

«Я буду казнен через несколько дней».

Он был снова арестован и 24 сентября приговорен к смерти. Председатель революционного трибунала почтил его напутственной речью, что не было в обычае революционных судов:

«Сердце твое не было достаточно широко, чтобы почувствовать святое веяние свободы, но ты доказал, что ради своих убеждений ты можешь пожертвовать жизнью».

Твои равные выслушали тебя, и твои равные осудили тебя. Суд их так же чист, как и совесть. Это мгновение не должно устрашить человека, подобного тебе. Родина плачет даже над гибелью тех, кто хотел растерзать ее. . .

Ты был человек, христианин, философ, посвященный, умеешь же умереть, как мужчина и как христианин, — это все, что родина еще может ждать от тебя».

Несравненно менее сознательны были предчувствия маленькой мистической секты, образовавшейся во второй половине XVIII века и носящей название «Иоаннитов».

В 1772 году некто Луазо, живший в селении Сен-Мандэ, ставшем в настоящее время предместьем Парижа, заметил в церкви перед собой странную фигуру — человека, одетого в звериные шкуры, с красным рубцом вокруг всей шеи. В руке у него была книга со словами: «Се агнец Божий». Он хотел проследить странного незнакомца, но тот исчез, выходя из церкви.

Проходя несколько дней спустя в Париже по площади Людовика XV, теперешней Place de la Concorde, он был остановлен нищим. Луазо не глядя опустил монету в протянутую шляпу и услышал слова:

«Ты уронил голову короля (изображение на монете), но я жду иной головы, которая должна пасть на этом месте».

Луазо узнал в нищем незнакомца, которого он видел в церкви, и тот сказал ему: «Замолчи, потому что никто, кроме тебя, не видит меня, и тебя примут за сумасшедшего».

В ту же ночь, проснувшись, он увидел на столе своей комнаты золотое блюдо, полное кровью, и на нем голову Иоанна Предтечи, которая сказала:

«Я жду головы королей и придворных их, я жду казни Ирода и Иродиады».⁴⁶

Вокруг Луазо образовалась небольшая секта. Они собирались вместе и ждали откровений Иоанна Предтечи о будущей революции. Секта эта дожила до революции и слилась с сектой Богородицы — Катерины Тео,⁴⁷ ожидавшей пришествия Нового Спасителя. Вокруг Катерины Тео создались странные легенды. Существует такой рассказ:

«Однажды вечером Катерина Тео сидела, окруженная своими верными. Это было в самые грозные мгновения Террора.

— Слушайте же, — сказала она, — я слышу звуки Его шагов. Это — таинственный избранник Провидения, это — ангел революции. Ему суждено быть Спасителем и жертвой. Это король разрушения и смерти. Он близко. На челе его кровавый ореол Предтечи. Он примет на себя преступление тех, которые убьют его. О! Велики твои судьбы, потому что ты замкнешь бездну, падая в нее.

— Вот он, убранный, как для праздника. И цветы в его руке. . . Это венцы его мученичества. . .

— О, как тяжелы твои испытания, сын мой! Сколько неблагодарных будут поносить память твою из века в век! Встаньте! Встаньте! Преклоните головы. . . Это король. . . Это король кровавых жертвоприношений!

В этот же момент дверь раскрылась, и некий человек в шляпе, надвинутой на глаза, и закутанный в плащ, вошел в комнату. Присутствовавшие поднялись, и Катерина Тео простерла к входящему свои руки.

— Я знала, что ты должен прийти, и я ждала тебя. Тот, которого ты не видишь и который по правую руку от меня, указал мне тебя сегодня. Нас обвиняют в заговоре в пользу короля. И я, действительно, говорила о короле, которого сейчас мне указывает Предтеча, в венце, обрызганном кровью. . . И знаешь ты, над чьей головой висит он? Над твоей, Максимилиан. — При этих словах незнакомец вздрогнул, бросил вокруг себя быстрый и беспокойный взгляд, но тотчас овладел собой.

— Что вы этим хотите сказать? Я не понимаю вас, — спросил он ледяным и отрывистым голосом.

— Я хочу сказать, что будет солнечный день, когда человек, одетый в голубое и держащий в руке скипетр из цветов, будет в течение одного мгновенья королем и спасителем мира. Я хочу сказать, что ты будешь велик, как Моисей, как Орфей,⁴⁸ когда, ступив на голову чудовища, готового пожрать тебя, ты скажешь и палачам и жертвам, что есть Бог.

— Не прячься, Робеспьер, и покажи нам, не бледнея, свою смелую голову, которую Бог бросит на пустую чашу весов. Тяжела голова Людовика, и только твоя может уравновесить ее.

— Это угроза? — холодно спросил Робеспьер, роняя свой плащ. — Этим фиглярством вы хотите усыпить мой патриотизм и смутить мою совесть? Вы ожидали меня, по-видимому. . . И горе вам, коли вы меня ожидали! Я, действительно, представитель народа и как таковой я донесу о вас Комитету Общественного Спасения и отдам приказ о вашем аресте.

Произнеся эти слова, Робеспьер закрыл плащом свою напудренную голову и холодно пошел к дверям. Никто не решился задержать его, ни обратиться к нему со словами.

Катерина Тео простерла руки и сказала:

„Чтите волю его, потому что он — король и первосвященник наступающих времен. Если он поразит нас, — это значит, что Бог хочет поразить нас: подставим безропотно головы наши под нож Провидения“.

Поклонники Катерины Тео всю ночь ждали, что их арестуют. Но никто не пришел. Так прошло пять дней. На пятый день и она, и ее сообщники были арестованы по доносу одного из тайных врагов Робеспьера.

И будущие термидорианцы в докладе Вадье⁴⁹ воспользовались этой сектой как одним из страшных орудий для ниспровержения Робеспьера».

Этот драматический рассказ странно совпадает со словами самого Робеспьера, сказанными министру внутренних дел Гара,⁵⁰ когда тот заклинал его спасти жирондистов:

— «В революции есть моменты, когда становится преступлением жить. Надо уметь отдать свою голову, когда ее потребует народ. Мою тоже потребуют, и вы увидите, буду ли я *стоять за нее*».

Я сказал, что Великая Революция является психологически кризисом идеи справедливости, которая в этой форме неразрывно связана с понятием мести. Мечь — это та форма переживания, которая с чудовищной силой связывает в тугую пружину воли целых поколений, и пружина, стягиваемая в течение столетий, вдруг разворачивается одним чудовищным взмахом.

Вполне принимая общепринятое изложение экономических, социальных и психологических причин, подготовивших Великую Революцию, мы не можем не признать, что у террора, являющегося, по своему существу, выражением идей справедливости и мести, есть иная генеалогия, чем та, которую нам обычно предлагают как генеалогию Французской революции. Существует целая литература, темная и мало известная, о мщениии тамплиэров.⁵¹

21 января 1793 года находится в неразрывной связи с 18 марта 1314 года — днем, когда был сожжен Великий Магистр ордена Тамплиэров, Яков Молэ.

За шесть лет до этого, в ночь с 12 на 13 ноября 1307 года, заговором всех государств Европы, составленным по инициативе французского короля Филиппа Красивого и папы Климента V, был совершен один из самых грандиозных *coups d'Etat*,* случившихся в Европе.

Был арестован весь могущественный рыцарский орден Тамплиэров, тайное общество, которое держало в своих руках все богатство и всю власть тогдашней Европы и подготовляло громадный религиозный и социальный переворот в европейском человечестве.

Шесть лет длился процесс, в котором тамплиэры обвинялись в черной магии, колдовстве и сатанизме, и 18 марта 1314 года Великий Магистр Яков Молэ был сожжен на медленном огне на том самом месте Pont-Neuf, где теперь стоит статуя Генриха IV.⁵²

Он горел несколько часов и призвал папу и короля предстать вместе с ним на суд Божий в этом же году.

* переворотов (франц.).

Папа умер через 40 дней, и тело его сторело от опрокинутого светильника в то время, когда оно стояло в церкви, а король Филипп Красивый умер через год. Орден Тамплиэров, основанный Гюгом де Пайеном как земное воплощение небесного ордена «Святого Грааля», был хранителем экзотерического христианства, и есть основание предполагать, что он подготовлял громадное религиозно-социальное переустройство средневекового мира.

Перед казнью Яков Молэ основал четыре Великих Масонских ложи: в Неаполе восточную, в Эдинбурге западную, в Стокгольме северную и в Париже южную.

На другой день после его сожжения Chevalier Aumont и семь тамплиэров, переодетые в костюмы каменщиков, с благоговением подобрали пепел его костра.

Так родилось по преданию тайное общество Франк-Масонов, которое впоследствии передало Великой Революции свой девиз: Liberté, Egalité, Fraternité.*

Для того чтобы допустить к причастию в их тайне Великой мести только людей вполне достойных доверия, нео-тамплиэры создали обычные франк-масонские ложи под именем св. Иоанна и св. Андрея. Эти ложи были доступны толпе, и из них выбирались истинные масоны, которые могли принять действительное участие в заговоре; они уже составляли не ложи, а шапитры, которых было четыре в городах, указанных Яковом Молэ.

Их власть и распространение в последние годы XVIII века были громадны. Из масонских лож вышли все деятели Великой Революции.

Когда Вольтер в самые последние годы своей жизни (1778) был посвящен в масоны, то в числе членов ложи Девяти Сестер, основанной Лаландом,⁵³ в которую он был введен Франклином и историком Курт де Жибелен,⁵⁴ были: Бальи, Дантон,⁵⁵ Гара, Бриссо, Камилль Демулен, Шамфор, Петيون,⁵⁶ Кондорсэ и Дом Герль.⁵⁷

«Революция началась взятием Бастилии, потому что Бастилия была тюрьмой Якова Молэ. Авиньон был центром революционных зверств, потому что он принадлежал папе и там хранился пепел великого магистра. Все статуи королей были низвергнуты для того, чтобы уничтожить статую Генриха IV, стоявшую на месте казни Якова Молэ, и на этом месте тамплиэры должны были воздвигнуть Колосса, подпирающего ногами короны и тиары».**

В том самом доме на улице Платриэр, в котором умер Жан-Жак Руссо, была основана ложа теми заговорщиками, что со времени казни Якова Молэ поклялись сокрушить государственный строй старой Европы. Эта ложа стала центром революционного движения, и один из принцев королевской крови там клялся в мести наследникам Филиппа Красивого на могиле Якова Молэ.

Записи ордена Тамплиэров свидетельствуют о том, что уже Регент⁵⁹ был Великим Магистром этого тайного общества и что его преемниками были герцог де Мэн, принцы Бурбон—Кондэ и герцог Cossé Brissac. Послед-

* Свобода, Равенство, Братство (франц.).

** Кадэ де Гассикур.⁵⁸ «Гробница Якова Молэ».

ним Магистром был Филипп Орлеанский,⁶⁰ который принял имя Эгалите, так как клятва тамплиэров о мести Бурбонам не позволяла ему править орденом, сохраняя свое имя. Тамплиэрам нужна была казнь короля. Когда национальное собрание под страхом гражданской войны объявило короля лишенным престола и назначило ему местом Люксембургский дворец, то другое собрание, более тайное и более могущественное, решило иначе. Резиденцией поверженного короля должна была быть тюрьма, и тюрьма эта не могла быть иной, чем старый дворец тамплиэров,⁶¹ который еще стоял крепко со своими башнями и бойницами в ожидании царственного узника.

Якобинизм имел уже имя раньше того, чем главы заговора выбрали старую церковь монахов-якобитов местом для своих собраний. Их имя происходит от имени Якова — имени рокового для всех революций. Старые опустошители Франции, создавшие Жакерию,⁶² назывались «Жаками».

Философ, роковые слова которого предуготовили новые жакерии, назывался «Жан-Жаком», и тайные двигатели Революции клялись низвергнуть трон и алтарь на гробнице Якова Молэ.

В тех местах, где на стенах церквей и зданий тамплиэры вырубili свои тайные знаки и символы, страшные «знаки Рыб»,⁶³ во время Революции разразились кровавые безумства с неудержимой силой.

Во время сентябрьских убийств какой-то таинственный старик громадного роста, с длинной бородой, появлялся везде, где убивали священников.⁶⁴

«Вот вам за альбигойцев!⁶⁵ — восклицал он, — вот вам за тамплиэров! Вот за Варфоломеевскую ночь!⁶⁶ За севенских осужденных!»⁶⁷

Он рубил направо и налево и весь был покрыт кровью с головы до ног. Борода его слиплась от крови, и он громко клялся, что он вымоет ее кровью.

Это был тот самый человек, который предложил m-lle де Сомбрейль⁶⁸ выпить стакан крови «за народ».⁶⁹

После казни Людовика XVI этот самый вечный жид крови и мести поднялся на эшафот, погрузил обе руки в королевскую кровь и окропил народ, восклицая: «Народ французский! я крещу тебя во имя Якова и Свободы!».*

В настоящую минуту Россия уже перешагнула круг безумия справедливости и отмщения.

Неслыханная и невиданная моровая язва, о которой говорил Достоевский, уже началась. Появились эти новые трихины — существа, одаренные умом и волей, которые вселяются в тела людей.

«Люди, принявшие их в себя, становятся тотчас же бесноватыми и сумасшедшими. Но никогда, никогда люди не считали себя такими умными и непоколебимыми в истине, как считают эти зараженные. Никогда люди не считали непоколебимее своих приговоров, своих научных выводов, своих нравственных убеждений и верований; и все же не могут согласиться, что считать добром, что злом».⁷¹

* Элифас Леви.⁷⁰

И Ангел Справедливости и Отмщения, кровавый Ангел тамплиэров, Ангел, у которого в руках меч, у которого глаза всегда завязаны, а одна чаша весов всегда опущена, восстал и говорит: ⁷²

Народу Русскому: Я скорбный Ангел Мщенья,
Я в раны черные, в распаханную новь
Кидаю семена. Прошли века терпенья. . .
И голос мой набат, хоругвь моя, как кровь.
На буйных очагах народного витийства,
Как призраки, взращу багряные цветы.
Я в сердце девушки вложу восторг убийства
И в душу детскую кровавые мечты.
И дух возлюбит смерть, возлюбит крови алость. . .
Я грезы счастья слезами затоплю.
Из сердца женщины святую выну жалость
И тусклой яростью ей очи ослеплю.
О, камни мостовых, которых лишь однажды
Коснулась кровь. . . я ведаю ваш счет!
Я камни закляну заклятьем вечной жажды.
И кровь за кровь без меры потечет. . .
Скажи восставшему: Я злую едкость стали
Придам в своих руках картонному мечу. . .
На стогнах городов, где женщин истязали,
Я «знаки Рыб» на стенах начерчу.
Я синим пламенем пройду в душе народа.
Я красным пламенем пройду по городам.
Устами каждого воскликну я: «Свобода!»
Но разный смысл для каждого придам.
Я напишу: «Завет мой Справедливость!»
И враг прочтет: «Пощады больше нет!»
Убийству я придам манящую красоту,
И в душу мстителя вопьется страстный бред.
Меч Справедливости — провидящий и мстящий —
Отдам во власть толпе, и он в руках слепца
Сверкнет стремительный, как молния разящий. . .
Им сын заколет мать. Им дочь убьет отца.
Я каждому скажу: «Тебе ключи надежды.
Один ты видишь свет. Для прочих он потух».
И будет он рыдать, и в горе рвать одежды,
И звать других. . . но каждый будет глух.
Не сеятель сберет колючий колос сева.
Принявший меч погибнет от меча.
Кто раз испил хмельной отравы гнева,
Тот станет палачом иль жертвой палача.